

150 лет со дня рождения Людвиг Больцмана

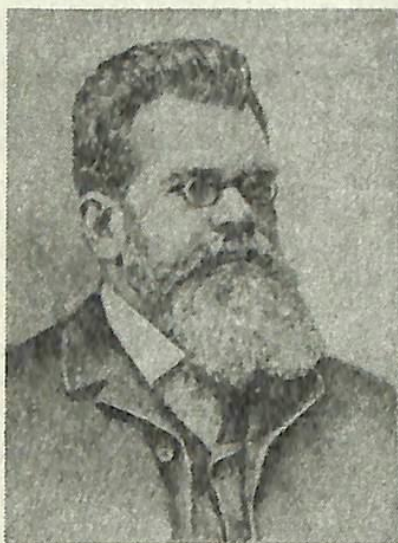
Замечания к публикации русского перевода очерка Людвиг Больцмана «Путешествие одного немецкого профессора в Эльдorado»

Прекрасный перевод с немецкого языка публикуемого ниже очерка Людвиг Больцмана о его поездке в Соединенные Штаты Америки выполнил выдающийся историк физики Иван Дмитриевич Рожанский, скончавшийся в этом году. В связи с этой публикацией не могу не вспомнить, как мы с Иваном Дмитриевичем ходили по разным «начальничкам» издательства «Наука», которые категорически отказывались напечатать этот текст... Причина отказа состояла в том, что очерк Больцмана рисовал Соединенные Штаты Америки в весьма привлекательном свете. Такое было время, что рассказ, содержащий подобные оценки, даже принадлежавший перу великого ученого, не полагалось предлагать неискушенному советскому читателю. Хвалить США не полагалось даже с долей иронии, даже в весьма уже далекой ретроспективе 1905 г. Времена меняются, и вот теперь написанное Больцманом выходит в свет в переводе на русский язык — к сожалению, со значительным опозданием по сравнению с переводами на многие другие языки.

Если Вы хотите узнать, что представляла собой «лоскутная» Австро-Венгерская империя в конце XIX—начале XX вв., то раскройте книгу Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» или взгляните (думаю, с ужасом) на книги Ф. Кафки. По тем временам Австро-Венгерская империя обладала одним из самых бюрократических государственных аппаратов в Европе, и тяжесть бездушного и бессмысленного чиновничества придавливала буквально все.

Частная жизнь тоже была далеко не легкой. Из письменного предложения, посланного Больцманом невесте, мы узнаем, что инфляция и тогда тоже была жизненно важной проблемой. Ученый отмечает громадный рост цен в Вене. Однако, чтобы добиться высокого оклада надо интриговать, но «я лучше знаю, как интегрировать, чем как интриговать»*, — пишет Больцман. (Вряд ли, кажется, в наше время многие современные ученые могут сказать это о себе.)

Людвиг Больцман был признан великим ученым еще при жизни. Огромны масштабы его творчества. Память о нем останется в физике навсегда в шести фундаментальных соотношениях, уравнениях и величинах: 1. *H*-теорема Больцмана; 2. Распределение Максвелла—Больцмана; 3. Соотношение $S = k \ln W$ Больцмана; 4. Кинетическое уравнение Больцмана; 5. Закон излучения Стефана—Больцмана; 6. Универсальная постоянная Больцмана.



Людвиг Больцман.
90-е XIX в.

Великая идея Больцмана о кардинальной роли неравновесности в эволюции неорганической и органической природы, ставшая теперь основанием решения широчайшего круга проблем, установление им — впервые! — связи математической величины (вероятности) и величины физической (энтропии) открыли не только новые черты физической картины мира, но оказались исключительно продуктивными в эвристическом плане.

Больцман ясно предвидел пути развития физики. Он писал: «...Луч надежды на немеханическое объяснение природы исходил не от энергетики, не от феноменологии, а от атомной теории, фантастические гипотезы которой так же превосходят старую атомную теорию, как ее элементарные образы по своей малости превосходят старые атомы. Излишне говорить о том, что я имею в виду современную электронную теорию...» — тогда только возникавшую. На пороге XX в. Больцман, обращаясь к нам, людям этого столетия, в докладе, прочитанном на собрании естествоиспытателей в Мюнхене 22 сентября 1899 г., говорил: «...сохранит ли в основных чертах свое значение старая механика? <...> или лучшей будет признана какая-то новая

* Здесь и далее цитаты приводятся по книге: Полак Л. С. Людвиг Больцман. М., 1987.

немеханическая модель?.. Все это в самом деле крайне интересные вопросы! Становится грустно, когда подумаешь о том, что придется умереть задолго до их решения. О, беспокойный смертный! Твой жребий — радоваться, глядя на будущую битву! <...> Военный хор спартанцев обращался к юношам с призывом: *будьте еще более храбрыми, чем мы!* Если мы, следуя старому обычаю, захотим встретить новый век благословением, то мы можем, уподобляясь своей гордостью спартамцам, пожелать ему, чтобы он стал еще более великим и значительным, чем тот, с которым мы сейчас прощаемся!»

Больцман был убежденным, полным энтузиазма дарвинистом, глубоко понимавшим смысл и значение идеи эволюции. Он писал: «Если Вы спросите меня относительно моего убеждения, назовут ли нынешний век железным веком или веком пара и электричества, я отвечу, не задумываясь, что наш век будет называться веком механического миропонимания природы — веком Дарвина». Он пытался распространить эволюционную точку зрения не только на проблему происхождения жизни, но и на проблему развития мозга, познания, этики и эстетики.

Что представлял собой Людвиг Больцман как человек определенного времени и социально-психологической среды? Если мы хотим почувствовать блеск и очарование публикуемого ниже очерка, ответ на этот вопрос, пожалуй, важнее, чем изучение деталей его научных открытий. Обратимся к его собственным оценкам, а также к рисункам его образа, созданного его современниками и последователями.

Вот как рисует портрет Больцмана его друг австрийский композитор В. Кинцль: «Он был высокого роста, сильный, с массивным черепом, с каштановыми, мелко вьющимися волосами и широким румяным лицом, окаймленным бородой, всегда немного сутулившийся; из-за близорукости постоянно носил очки. То, что он был глубоко образованным человеком, отнюдь не уменьшало его бросающейся в глаза детской наивности...» Больцман был добросердечен, очень любил детей, любил природу, часто совершал длинные прогулки, хорошо знал ботанику, содержал гербарий и собирал коллекцию бабочек, увлекался коньками в зимнее время и плаванием — в летнее. Он привык вставать рано утром и в последние годы жизни начинал работать уже в пять часов утра.

Он любил далекие путешествия, ездил в Константинополь, Смирну, Алжир, Лиссабон, несколько раз — в США.

Больцман был прекрасным знатоком классической литературы и очень часто ее цитировал. Свою книгу *«Populäre Schriften»* он посвятил Фридриху Шиллеру, который был его любимым поэтом: «Посвящается Шиллеру, непревзойденному мастеру правдивого изображения событий, с искренним, из глубины сердца исходящим восхищением, в столетнюю годовщину после его вступления в бессмертие». Отмечая влияние, оказанное на него великим немецким поэтом, Больцман писал: «Без Шиллера мог, конечно, быть человек с моим носом и бородой, но это не был бы я». Для Больцмана, который страстно любил музыку и сам неплохо музицировал, любимым композитором был великий Бетховен. «Другим человеком, оказавшим на меня такое же влияние, — писал ученый, — является Бетховен».

В отношении к музыке великий физик был типичным венцем. В Вене родились и развивались классические жанры музыки, в том числе легкой — венский вальс, оперетта. (На похороны Штрауса-отца вышли сто тысяч жителей этой столицы; увлечение публики вальсом вызвало специальный указ австрийского императора, согласно которому вальс не мог длиться более 8 минут — в виду его «возбуждающего действия»!)

Больцман любил играть симфонии Бетховена на фортепьяно в переложении Листа. Вместе в друзьями и сыном Артуром он часто исполнял камерную музыку. Он также любил филармонические концерты и имел абонемент в Венскую Оперу. Сам он писал: «В качестве отдыха я предпочитаю хорошую музыку и восстанавливаю по памяти оперы и оркестровые произведения, проигрывая партитуру на пианино. Я люблю также читать стихи и иногда пишу их сам, но только для себя. Я люблю философствовать на фоне природы...»

Больцман любил общество, часто приглашал к себе студентов; всюду он — желанный гость, умеющий развлечь собравшихся благодаря блестящему чувству юмора. Блестящий пример неповторимого, тонкого больцмановского юмора дает нам и публикуемый ниже очерк о поездке в США.

До последних лет своей жизни Больцман сохранил страстность научного темперамента. На шестьдесят первом году жизни 21 января 1905 г. он выступил в Венском философском обществе с докладом «Об одном тезисе Шопенгауэра», который вначале хотел назвать весьма необычным образом: «Доказательство того, что Шопенгауэр был бездарным, легкомысленным, невежественным, марающим бессмыслицу, дегенерировавшим лжемудрецом и философствующим болтуном, понимание которого состояло только из пустого словесного вздора».

По оценкам знавших его людей, Больцман отличался «неисчерпаемой любезностью» и «был счастлив, если мог кому-нибудь оказать какую-либо услугу». Несмотря на порой очень

резкие научные споры с Оствальдом, Махом и другими «энергетиками», он сохранял с ними хорошие личные отношения. Свое глубокое уважение и высокую оценку работ замечательных физиков-теоретиков Максвелла и Гиббса, трудившихся почти одновременно с ним в рамках одной и той же проблематики, он неоднократно высказывал в печати.

Больцман был прекрасным педагогом. Его ближайший ученик и непосредственный приемник Фриц Хазенорль — к несчастью, погибший на фронте во время первой мировой войны, — писал: «Способность понять внутренний мир учащегося, заинтересованность в его развитии, благорасположение и симпатия, одним словом, человеколюбивое сердце — вот что характеризует хорошего учителя... Этими качествами обладал Больцман». Знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Лизе Мейтнер, слушавшая лекции Больцмана в 1902—1905 гг., вспоминала: «Он пользовался тремя досками. В центре стояла одна большая доска, на которой он писал свои основные расчеты, а по бокам — еще две, куда он заносил вспомогательные расчеты. Причем все писалось четко и ясно; глядя на эти доски можно было восстановить всю лекцию. Он до такой степени воодушевлялся тем, чему учил нас, что после каждой лекции мы уходили с чувством, как будто нам открылся совсем новый и чудесный мир... Он был человеком, который вызывал восхищение и привязанность». Больцман часто приглашал на свои лекции философов и дискутировал с ними.

Он охотно участвовал в публичных дискуссиях со своими идейными противниками — Оствальдом, Махом, Гельмом — и, как правило, выходил победителем. Его прямыми учениками или «учеными внуками» были знаменитые ученые Сванте Аррениус, Вальтер Нернст, Пауль Эренфест, Эрвин Шредингер и другие.

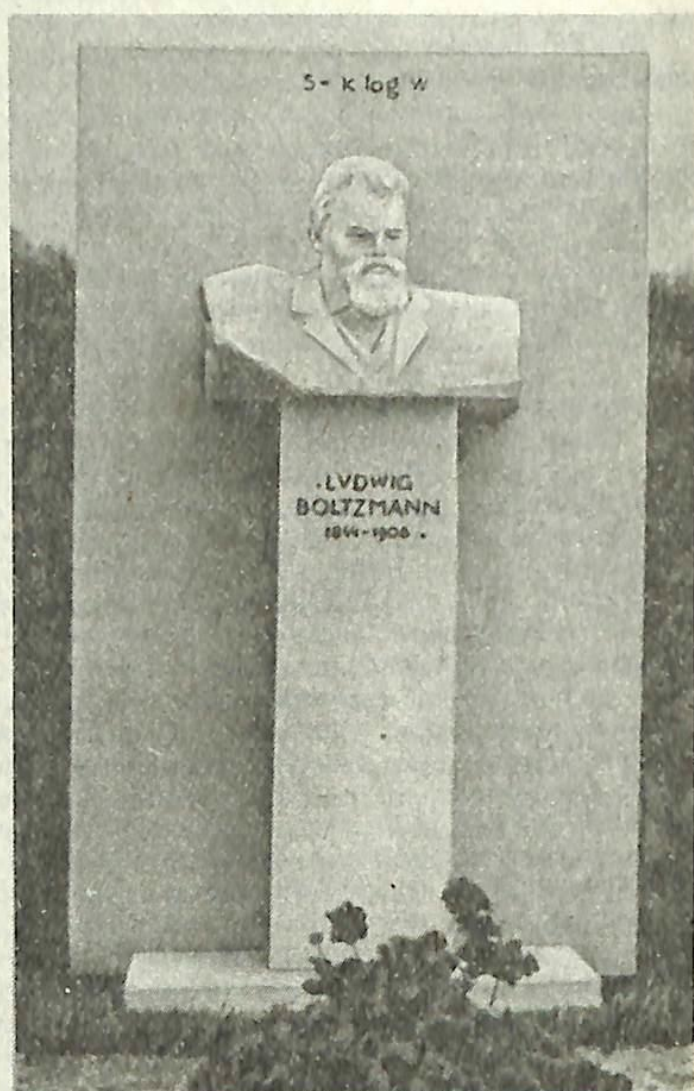
Поразительна универсальность его интересов и профессиональных возможностей, позволявших в одно и то же время преподавать и математику, и экспериментальную физику, и философию. Публичные лекции он читал с исключительным успехом, и на них собиралось по тем временам огромное количество слушателей. Здесь бывали ученые-профессионалы и люди, просто интересующиеся научным знанием, приезжали из разных стран Европы и Японии. Среди слушателей был и русский физико-химик П. Д. Хрущев, который оставил восхищенное описание этих лекций.

Болезнь Больцмана, связанная, по-видимому, с истощением нервной системы и перегрузкой в результате напряженной работы, все усиливалась с годами.

В 1905—1906 гг. страдания великого ученого от нервных болезней, депрессии, астмы, быстрого усиления близорукости стали невыносимыми. Сам он говорил, что никогда бы не поверил, что возможен такой конец... Выходя после экзамена, который он принимал на своей вилле, студенты не раз слышали его душераздирающие стоны. 5 сентября 1906 г. во время приступа депрессии Больцман покончил жизнь самоубийством.

Он был похоронен в Вене, и на его памятнике высечена формула $S = k \ln W$. По словам Зоммерфельда, эта формула «парит на фоне облаков, плывущих над могилой великого Больцмана».

Л. С. Полак



Памятник Людвигу Больцману
на Центральном Венском кладбище

Л. БОЛЬЦМАН

ПУТЕШЕСТВИЕ
ОДНОГО НЕМЕЦКОГО ПРОФЕССОРА В ЭЛЬДОРАДО*

Так как я уже неоднократно бывал в Америке и по разу ездил в Константинополь, Афины, Смирну и Алжир, ко мне часто обращались с настойчивыми призывами — опубликовать что-нибудь из моих путевых впечатлений. Однако все они представлялись мне слишком незначительными и лишь мое последнее путешествие в Калифорнию оказалось действительно примечательным, почему я и осмеливаюсь немного поболтать о нем.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что для того, чтобы увидеть нечто интересное и красивое и хорошенько развлечься, надо обязательно ехать в Калифорнию. От поездки по прекрасным горам нашей родины можно получить столько удовольствия и радости, сколько вообще может вместить человеческое сердце. Самый простой ужин способен порой доставить королевское наслаждение, но путешествие в Калифорнию следует уподобить разве что шампанскому «вдова Клико» с устрицами.

Первая часть моего путешествия проходила под знаком спешки и о ней также нужно рассказать побыстрее. Еще 8 июня я в обычном порядке присутствовал на очередном заседании Венской академии наук, происходящем по четвергам. Когда мы расходились, один из моих коллег заметил, что я повернул не на Беккерштрассе, как обычно, а на Штубенринг, и спросил меня, куда я иду. В Сан-Франциско, ответил я лаконично.

В ресторане Северо-западного вокзала я еще не спеша покушал жареного поросенка с гарниром из зелени и картошки и выпил при этом несколько стаканов пива.

Ни один сколько-нибудь опытный путешественник не удивится тому, что я столько говорю о еде и питье. Это не только немаловажный фактор, — это прямо-таки стержневой пункт. В любом путешествии самое важное — сохранить свой организм здоровым вопреки многообразным и непривычным воздействиям, которые на него оказываются, и прежде всего это относится к желудку, в особенности же — к избалованному венскому желудку. Ни один венец не может равнодушно есть гуляш, и если у швейцарца тоска по родине выражается в воспоминаниях о хоровах пастухов под аккомпанимент коровьих колокольчиков, то для коренного жителя Вены она сводится к памяти о копченостях с клецками. — «Не говорите, что от старости я впадаю в детство: старость застала меня, когда я еще был ребенком».

Как только я покончил с обедом, моя жена и дети прибыли на вокзал с уже уложенным багажом. Еще одно «прощайте», и вот я отправился в путь — сначала в Лейпциг, на объединенную академическую сессию, открывавшуюся в 10 часов утра на следующий день. В поезде я по возможности привел себя в порядок (я охотно воспользовался бы умывальными — *washing rooms* — американских железных дорог!), а по прибытии в Лейпциг сразу же погрузился на дрожки и приехал точно к началу сессии. В воротах я очень кстати встретился с моим коллегой Креднером, тоже спешившим на заседание: самым любезным образом он помог перенести мои вещи, которые мне негде было пристроить, в вестибюль конференц-зала, где происходила сессия.

На эту объединенную сессию я шел не без некоторого страха, так как на ней должен был обсуждаться вопрос, который мог обернуться для меня очень неприятно.

Не будет ли читателю скучно, если я коротко проведу его по мастерской научной работы, чтобы показать ему ее внешнее устройство и немного разъяснить механизм ее действия? Надеюсь, что нет. Сегодня едва ли можно найти образованного человека, который не посетил бы там или здесь указанную в Бедекере** фабрику металлических, кожевенных или стеклянных изделий, и я действительно нахожу, что удовлетворение любопытства по поводу того, каким образом предметы нашего обихода принимают столь привычную для нас форму, является столь же занимательным, как и поучительным. Почему же я не должен предполагать у читателя наличия некоторого любопытства в отношении механизма фабрики, которая, я осмелюсь утверждать, значительно важнее для человеческой культуры и, надеюсь, несколько не скучнее, чем самая большая кожевенная фабрика?

Несколько немецких академий и научных обществ договорились о ежегодном проведении совместных заседаний, на которых обсуждались бы научные вопросы, имеющие универсальное значение. Это и есть объединенная академическая сессия. Некоторое время тому назад эта сессия приняла решение об оказании материального содействия выпуску многотомного издания — Энциклопедии математических наук. Дело в том, что объем математического

* Reise eines deutschen Professors ins Eldorado // Boltzmann L. Populäre Schriften. Leipzig, 1905. S. 403—435.

** Известный на Западе путеводитель по странам мира.

знания колоссально увеличился на протяжении прошлого столетия; при этом каждый автор пользуется своими особыми обозначениями и пишет подчас настолько малопонятно, что даже специалисты близкого профиля могут лишь с большим усилием следовать за ходом его мыслей. Тем не менее в этой малопонятной, труднодоступной и рассеянной по всему свету математической литературе скрыто подчас необычайно много полезного, нужного, а зачастую просто необходимого даже для практиков.

Упорядоченный свод всего этого материала по возможности в понятном изложении и составляет как раз задачу обсуждаемой Энциклопедии. Все достижения математики она должна сделать легко доступными прежде всего для самих математиков, а одновременно с этим перебросить мост к практике, приблизив таким образом практиков к математике, а математиков к практике. Нужность подобной математической энциклопедии настолько очевидна и бесспорна, что профессор Клейн из Геттингена назвал ее «математическим нужником».

Подобное предприятие не было бы столь необычайно нужным, если бы речь шла только о том, чтобы привести наиболее выдающиеся достижения без слишком детальной их практики и зарегистрировать все самое важное и, разумеется, самое известное. Но если задача состоит в том, чтобы во всех областях извлечь все действительно полезное, как бы глубоко оно ни было скрыто, исключив при этом все несущественное, — если, далее, требуется достичь максимальной библиографической полноты и притом изложить все в легко обозримой и удобной для читателя форме, тогда возникающие трудности могут испугать любого, кто хотя бы немного заглядывал в математическую литературу.

Вышеупомянутый профессор Клейн выставил в качестве приманки план, согласно которому академии дают деньги на расходы по печатанию, на авторские гонорары и на командировки, а он, Клейн, и его штаб обеспечивают выполнение работы. Тогда дело сводится к тому, чтобы для каждой специальной области отыскать среди многих наций земного шара такого человека, который лучше всех ею владеет. Действительно, немецкие и французские, русские и японские математики сотрудничают друг с другом в мире и согласии. И вот избранный зачастую оказывается важным господином, имеющим много денег и мало времени, возможно также не слишком стремящимся к работе, но зато наделенным большим самолюбием. Сначала его нужно склонить к тому, чтобы он пообещал дать статью, затем тщательно проинструктировать, далее, используя все средства искусства убеждения, уговорить его написать статью таким образом, чтобы она соответствовала общему плану, и — *last but not least* — обеспечить выполнение обязательства к назначенному сроку.

Часами длились обсуждения: следует ли уже сейчас печатать статью, предназначенную для более позднего раздела Энциклопедии — только потому, что она уже имеется в наличии, в то время как другие, предшествующие ей по плану, еще не получены. Клейн и его апостолы не скупилась на поездки во все страны мира, чтобы воздействовать на должников со всей той силой, которую могут обеспечить личные переговоры. Долгое время имелся существенный пробел, потому что избранный для написания одной из статей математик служил офицером в русской армии и был отрезан от мира во время осады Порт-Артура. Я достаточно часто присутствовал на такого рода энциклопедических заседаниях, драматичная живость которых могла бы быть с успехом использована немецкими драматургами.

Теперь вернемся к моим делам. Когда Клейн навязывал мне статью для Энциклопедии, я долгое время отказывался. Наконец он предупредил меня: «Если Вы ее не напишете, я передам ее Цермело». Этот ученый придерживается взглядов диаметрально противоположных моим. Нельзя было допустить, чтобы его взгляды задавали тон в Энциклопедии, поэтому я быстро ответил: «Прежде чем это сделает Песталутц, лучше я сделаю сам» (Все цитаты, главным образом из Шиллера, приводимые в честь минувшего шиллеровского юбилея, заключены мной в кавычки: пусть их проверят!).

И вот приближался срок представления моей статьи. Я предпочел бы провести сентябрь в деревне, чтобы отдохнуть после трудного путешествия, однако я дал слово, и таким образом я должен буду в сентябре рыться в литературе и вместе с небольшой группой венских физиков изготавливать статью «Клятвы, данные вечности».

Нечто аналогичное произошло, по-видимому, с профессором Виртингером, потому что в качестве эмблемы Энциклопедии он предложил изобразить мышеловку: кусочек сала манит — и профессор пойман.

Чем же так неотразимо привлекает к себе вся эта работа? Особой славы она принести не может, за исключением той, которую дает участие в полезном деле; о деньгах я вообще не говорю. Что же побудило Клейна, оказавшегося таким знатоком психологии, что ему могли бы позавидовать многие философы, отыскивать у каждого, кого он имел на примете, именно то слабое место, которое позволяло его уговорить? Один только идеализм, и если мы поглядим как следует, мы найдем этот идеализм везде — вплоть до Тихого океана. Там нас приветят две толстые белые башни Ликской обсерватории, построенной идеалистом и мульти-

миллионером; об этом я еще буду говорить ниже. Я долго обдумывал, что следует считать более удивительным: что в Америке миллионеры являются идеалистами или что идеалисты там миллионеры. Счастлива та страна, в которой миллионеры руководствуются идеальными побуждениями, а идеалисты становятся миллионерами! Пусть при этом будут в чести и копчености с клецками: идеалисты везде нуждаются в том, чтобы хорошо покушать.

Идеализм Клейна и его сотрудников принес хорошие плоды. Сразу же после появления первого выпуска Энциклопедии пришлось увеличить ее тираж; уже начат французский перевод этого труда, а вскоре появится и английский. Академии доказали, что у них верная хватка, а книготорговцы заключили выгодную сделку.

К сожалению, Берлинская академия наук не принадлежит к этому сообществу и не принимает никакого участия в начатом деле. Она не была также представлена на Метеорологическом конгрессе в Саутпорте и на Конгрессе по изучению солнца в Сен-Луи. Я опасаясь, что своим принципом — не участвовать ни в чем, инициатором чего она не является — Берлинская академия принесет вред не только науке, но еще в большей степени самой себе и Германии. Меня раздражало, что в Саутпорте и в Сен-Луи среди иностранцев (т. е. не англичан) на первом месте были везде французы. В самом деле: нам, немцам, не пристало им уступать. Но что мог сделать я, будучи австрийцем? Если бы среди метеорологов был хотя бы Ханн, которого всем так не хватало! Но он опять-таки не склонен отправляться в путешествия!

Раз я уже начал болтать, я даю моему языку полную свободу. Поэтому я не умолчу и о том, что один американский коллега говорил об отставании Берлина вообще. Действительно, во времена Вейерштрасса, Кронекера, Куммера, Гельмгольца, Кирхгоффа американские математики и физики направлялись учиться в Берлин; теперь они предпочитают Кембридж или Париж. Между тем тот факт, что у немцев учатся меньше, отдаляет от нас американскую, а вместе с тем и мировую науку. Упомянутый коллега утверждал также, что кое в чем было бы лучше, если бы я не отклонил предложения переехать в Берлин. Меньше всего, конечно, имелись в виду мои лекции; но даже один человек, обладающий идеализмом Клейна и его бойкостью, может сыграть большую роль как в привлечении ученых, так и в новых начинаниях. Многих из тех, кто в Берлине отсутствует, можно было привлечь, если бы по-настоящему захотеть этого. Даже маленькое колесико может сделать многое, если оно находится на своем месте и хорошо работает.

* * *

Если бы я стал так долго задерживаться на всех городах, не уступающих по численности населения Лейпцигу, я бы далеко не уехал. «Однако жителей надо не считать, но взвешивать». Имеется в виду, конечно их духовная ценность.

После нескольких исключительно приятных, интимных обедов и одного официального приема, на котором я впервые лично познакомился с саксонским министром просвещения Зейдовицем, под начальством которого я два года проработал в должности профессора, мое путешествие продолжалось — с начала до Бремена, а потом, вместе с князем из дома Гогенцоллернов, в Нью-Йорк. Не следует понимать это в том смысле, что мне была оказана честь сопровождать этого князя во время его поездки в Америку; он просто вез меня на своей спине. В ту сторону это был «Кронпринц Вильгельм», а при возвращении — «Кайзер Вильгельм II».

Дорогой читатель! Я очень спешу, однако путешествие по морю от Бремена до Нью-Йорка есть нечто столь замечательное, от чего я не могу отделаться приведенной банальной остроумной. Большие океанские пароходы принадлежат к числу предметов, заслуживающих наибольшего восхищения из всего, что было создано человеком, и плавание на таком пароходе кажется прекраснее при каждом его повторении. Чудесно шумящее море — каждый день другое и каждый день все более изумительное! Сегодня — кипящее белой пеной, дико бурлящее. Посмотри на корабль, вон там! Вот его окончательно поглотили волны! Нет! Его киль снова торжествующе выныривает из водной бездны.

На следующий день буря утихает, и море становится ровным, хоть и туманно-серым; небо тоже туманно-серое — того цвета, которым художники передают меланхолию. Затем сквозь туман прорывается солнце; желтые и красные искры танцуют между черными тенями от туч; это похоже на бракосочетание золотистого света с тьмой. И вдруг все небо очищается и становится снова синим, а море, цвета лазури с серебром, сияет таким непреодолимым блеском, что приходится закрывать глаза. И только в отдельные, избранные дни оно украшает себя самым прекрасным ультрамариновым платьем темного и в то же время светящегося цвета, окаймленным кружевами молочно-белой пены! Когда-то я смеялся, прочтя, что какой-то художник проводил дни и ночи в поисках одного единственного оттенка краски; теперь это уже не кажется мне смешным. Когда я увидел море такого цвета, я не мог сдержать слез; спрашивается, каким образом один лишь цвет может заставить нас плакать? А потом опять лунный блеск или свечение моря в черную как смоль ночь! Для того чтобы дать представление

обо всем этом великолепии, надо быть художником, но и тогда этого по-настоящему нельзя было бы сделать.

Если существует предмет восхищения, имеющий большую ценность, чем подобная красота природы, так это то искусство, с которым человек со времен финикийцев вел длительную борьбу с этим беспредельным морем и в конце концов добился решительной победы. Как безжалостно разрезает киль набегающие волны, с какой яростью морской бог вспенивает воду под буравящим ее винтом! Поистине величайшим чудом природы следует считать присущий человеку дух творческого поиска!

Если бы меня, как некогда Соломона, спросили, кого я считаю счастливейшим среди смертных, я не колеблясь назвал бы Колумба. Не потому, что не существует других, столь же значительных открытий: достаточно назвать изобретение немца Гутенберга. Но переживание счастья очень зависит от чувственных воздействий, а именно они должны были у Колумба присутствовать в высочайшей степени! Всегда, когда я высаживаюсь в Америке, я испытываю по отношению к нему чувство зависти или, лучше сказать, восторга по поводу того, что я могу ощущать хотя бы некоторую долю одушевлявшей его радости. Конечно, Колумб плыл не на «Кронпринце Вильгельме», и он не мог увидеть Нью-Йорк наяву, но своим духовным взором он, может быть, видел больше чем мы — Нью-Йорк через 100 или 200 лет после нас!

Именно поэтому Колумб стал прототипом открывателя. Его «Вперед и вперед на запад» служит образцом настойчивости, его «Земля, земля!» — примером радости успеха, а все созданное им убеждает нас в том, что земное благополучие отнюдь не есть самое важное. «Не рискуя своей жизнью, ты никогда не достигнешь вершины».

Не только чувство красоты, но и все другие чувства находят во время морского плавания полное удовлетворение. Обильная и хорошая кухня заботится о чувстве вкуса, вполне приличный оркестр — о чувстве слуха. И тут мы опять встречаемся с нашими венскими композиторами, правда, не с самыми великими, но такими, как Штраус, Ивановичи, Вальдтейфель и другие. Аудитория, плывущая по волнам Атлантического океана, с восторгом принимает «Дунайские волны», и в самом деле, вспоминая Гайдна, Моцарта, Шуберта, Бетховена, мы можем сказать о Дунае то же, что Шиллер сказал об Ильме, а именно, что «его тихие, мотекующие волны подслушали не одну бессмертную песню».

Таким образом, нет ничего более приятного, чем жизнь на пароходе — особенно для того, кто богом избавлен от морской болезни и может со спокойным сердцем взирая на многих простертых на палубе страдальцев. Развлечение достигает высшей своей точки, когда, в силу какой-то гидродинамической случайности, волна неожиданно переплескивается через борт и растянувшиеся в полусне пассажиры с визгом вскакивают со своих мест.

Когда после всего этого я прибываю в нью-йоркскую гавань, меня охватывает своеобразное чувство опьянения. Эти высокие, башнеподобные дома и превосходящая их всех статуя Свободы с факелом! К тому же эта неразбериха из свистков и пения пароходов: один резко предупреждающий, другой испуганно вскрикивающий, один весело гудящий, другой меланхолично жалующийся, а откуда-то раздаются неподражаемые тона сирены! Если бы я был музыкантом, я написал бы симфонию: «Нью-Йоркская гавань».

Но на этот раз у меня не было времени на сентиментальные переживания. В Хобокене я сразу же нанял кэб, который должен был отвезти меня в контору «Саузерн Пасифик Рейлрод», а оттуда прямо на вокзал — все это за три доллара. Однако в конторе я узнал, что скорый поезд, на который я мог получить льготный билет, отправляется лишь два раза в неделю и я должен два дня пробыть в Нью-Йорке. Итак, я направил свой экипаж к Вестминстер-отелю, и у меня было время, чтобы в течение двух дней побродить по Нью-Йорку.

Скучать во всяком случае там не приходится. Какие богатые возможности для развлечения и наблюдений предоставляет всего лишь одна поездка на трамвае! Билетов здесь не дают; ограничений числа едущих и различия в ценах тоже не существует. Кондуктор окидывает острым взглядом каждого входящего пассажира, который сует ему в ладонь пять центов, затем он дергает за шнурок и факт оплаты регистрируется счетчиком, находящимся в верхней части вагона. Одновременно раздается удар колокола, который слышат все присутствующие. Заняв место вблизи водителя, можно любоваться его мастерством вождения, не намного уступающим полководческому мастерству Наполеона I или Мольтке. С какой стремительностью пролетает он открытый участок пути, как внезапно останавливается перед автомобилями, которые делают крутые виражи под самым носом у экипажей и трамваев! Все это следует видеть в натуре, а также многое другое, что в Нью-Йорке достойно лицезрения.

Тем быстрее пошло дело на третий день. За четыре дня и четыре ночи я прибыл из Нью-Йорка в Сан-Франциско. При этом возникает ощущение, что тебя просто швырнули вперед, некоторым образом тобою выстрелили. Проходя через бесконечно длинный поезд к вагон-ресторану или к наблюдательному вагону, все время получаешь не очень-то приятные толчки.

Наблюдательный вагон сзади совершенно открыт и там можно сесть на окаймляющие его перила, или свеситься с них, остерегаясь только, чтобы не вывалиться вниз при каком-нибудь внезапном толчке.

Места, через которые мы проезжали, были, сказать по правде, довольно однообразными, но интересным было уже само наблюдение скорости езды. Когда смотришь из наблюдательного вагона назад, железнодорожные рельсы представляются бесконечной лентой, с дикой скоростью вытаскиваемой из-под вагона. Интересен также переезд по огромной деревянной плотине прямо посередине Соленого озера, и через поля перед ним и после него, покрытые, как снегом, кристаллами соли. Уже к концу нашего путешествия великолепен был перевал через Сьерру-Неваду. Он напомнил мне Земмеринг, правда, не такой живописный, но еще более величественный как своей длиной, так и высотой обступивших его гор.

Благодаря моей задержке в Нью-Йорке, я приехал в Беркли с опозданием. Летняя школа открылась 26-го числа, а я прибыл туда только 26-го вечером. Поскольку, однако, этот день был потрачен на вступительные речи, регистрацию и т. д., то я не пропустил бы ни одного часа, если бы следующий день я начал ровно в 9 часов утра. Но я объявил, что не в состоянии этого сделать. Только теперь обнаружилось действие четырехдневной тряски и швыряния. Я не мог пройти по твердой земле ни одного уверенного шага, а ночью я несколько раз просыпался в страхе, чувствуя, что меня ничто не трясет, хотя тряска мне только что снилась.

Я должен признаться, что перед первой лекцией я всегда немного волнуюсь, здесь же это было вдвойне, потому что я должен был говорить по-английски. Во время поездки у меня было меньше поводов к английским разговорам, чем я рассчитывал. Немцы, которые знали английский язык, после нескольких английских слов снова переходили на немецкий, а настоящие англичане вообще ничего не говорили.

В Америке мои английские разговоры проходили по следующей схеме: *When lunch will be served?** Ответ: *иззоо*. Я: *I beg you, could you say me, at what hour lunch will be served?*** Клокотание становится на целую квинту ниже тоном: *аооуу*. Я осознаю, что мой план атаки оказался неудачным, и я вскрикиваю в отчаянии: *ленч, ланч, лонч, лаунч*, и т. д. Я произношу гласные, которые невозможно было бы найти в наборном ящике Гутенберга. Но вот на его лице появляется нечто вроде понимания. А, *лоанч*? Наконец, мостик взаимопонимания переброшен. Я: *When? At what hour? When o'clock?**** Он: *Half past one!***** Мы поняли друг друга. И на этом языке я должен буду прочесть тридцать лекций! И вот я объявил, что во вторник, 27 июня, я еще не в состоянии читать лекции и смогу начать мой курс только в среду. В течение первой лекции я вел себя очень робко, во время второй уже непринужденней, а когда мне сообщили, что студенты меня хорошо понимают, более того, что они находят мое изложение очень наглядным и ясным, я вскоре почувствовал себя как дома.

Этим успехом я обязан преподавательнице английского языка мисс Мэй О'Каллагэн, у которой я брал уроки в Вене и которой я не могу не выразить здесь благодарности. Я бы не смог его достичь, если бы не ее неустанные усилия преодолеть сопротивление моего органа речи. С какой гордостью я произнес, как нечто само собой разумеющееся, слова *blackboard, chalk*, когда мне потребовались пригодный для писания кусок мела и достаточных размеров черная доска! Как хорошо получалось произношение таких слов, как *algebra, differential calculus, chemistry, natural philosophy* и т. д.!

Моему прилежанию я обязан также тем, что я сумел отведать превосходный салат из омаров. В меню стояло «lobstersalad». Я сразу же вспомнил один из уроков, на котором я едва мог поверить, что омар по-английски называется *lobster*; итак, подайте мне этот *lobster*! Он действительно оказался очень вкусным.

* * *

Университет Беркли, где должна была протекать моя деятельность, представляет собой прекраснейшее место, какое только можно себе представить. Парк площадью в один квадратный километр, с деревьями, возраст которых насчитывает не одно столетие, а может быть тысячелетие? — Кто мог бы сразу сказать это! В этом парке расположены красивые, современные здания, правда, теперь ставшие слишком тесными. Но уже возводятся новые постройки: строительная площадка и деньги имеются в наличии.

* Когда подадут завтрак? — Здесь и далее примечания переводчика.

** Я прошу Вас, можете ли Вы сказать мне, в котором часу будет подан завтрак?

*** Когда? В котором часу?

**** В половине второго.

Этому университету присущ некий философский дух. Ведь имя Беркли носил один очень почтенный английский философ, которого даже прославляют за то, что он изобрел величайшую глупость, когда-либо порожденную человеческим мозгом, а именно философский идеализм, отрицающий существование материального мира; слово «идеализм» имеет здесь таким образом другой смысл, чем тот в каком я употребил его выше. Философии отведен здесь отдельный учебный корпус; этот корпус построен не из фраз и фантазмагорий, простите!, я хотел сказать не из логических умозаключений и понятий рассудка — нет, это реальное здание из камня и дерева, в котором психические явления изучаются с помощью камертонов, цветных дисков, кимографов и записывающих барабанов.

Для меня же более важным было другое здание. Какой-то предприимчивый хозяйственник прочел в энциклопедическом словаре, что Беркли был английским епископом, жившим в местечке, которое называлось *Cloyne Court*; после этого он построил гостиницу для профессоров, назвав ее *Cloyne Court*, и вот в ней-то я жил в течение моего пребывания в Беркли. Упомянутый хозяйственник совершенно не стремился к тому, чтобы эта гостиница имела какое-либо внешнее сходство с местом жительства английского епископа; она была расположена на авеню Евклида и построена в форме строгого параллелепипеда, без всяких следов чего-либо неевклидовского. Однако внутри она была вполне комфортабельна. Я имел там маленькую спальню, немного более обширный кабинет для работы и ванную; все это освещалось электричеством. В комнатах можно было включать горячую воду, циркулировавшую по нескольким широким трубам и обеспечивавшую умеренное нагревание помещения, что было в июле и на широте Палермо очень приятно — настолько ледяным был там временами ветер, дувший с Тихого океана. Зато зима в Беркли лишь немногим холоднее, чем лето; она только значительно дождливее, в то время как летом дожди полностью отсутствуют.

Пища там была хорошая. По крайней мере одним из предлагаемых блюд было, как правило, приятно полакомиться. Печатных меню там не существовало. Перед каждой едой одна из кельнерш, которые в большинстве своем почему-то носили очки, нараспев зачитывала перечень блюд, так что это чтение звучало как монотонная, приглушенным голосом исполненная песня.

Однако:

Здесь вечны блага не бывали,
И никогда нам без печали
Не доставались оне...

И это в равной мере относится к путешествию в Беркли. Первым сказал свое слово желудок. До этого времени я не пил никакой воды — ни из открытых сосудов, ни из закрытых бутылок, в которых проточная вода насыщается углекислотой, — и мой желудок, несмотря на непривычную пищу, оставался здоровым. Однако в Беркли действует сухой закон: пить или подавать на стол вино и пиво там строжайшим образом запрещено. Умереть от жажды я все же не желал; я попробовал пить воду, только без льда, в надежде, что она в Беркли окажется здоровее, чем в Нью-Йорке или Сен-Луи. К сожалению нет! Мой желудок взбунтовался, и после того, как целую ночь я вынужден был провести в одежде, чтобы не слишком часто раздеваться и снова одеваться, я осмелился обратиться к одному из коллег с вопросом о возможности покупки вина. Действие, которое произвел мой вопрос, напомнило мне сцену в купе для курящих, когда однажды я ехал в поезде, шедшем из Сакраменто в Окленд. К нам присоединился один индус, который самым наивным тоном — ведь он был индус — осведомился о наличии в Сан-Франциско, скажем поприличнее, дома баядерок. Большинство пассажиров были из Сан-Франциско, и можно не сомневаться, что в Сан-Франциско имеется немало девушек, поступающих согласно девизу: «*give me money, I give you honey*»^{*}; тем не менее у всех сделались вытянутые, смущенные лица. Совершенно такое же выражение появилось на лице



Людвиг Больцман у доски.
Шарж К. Пржибрама

^{*} Дай мне деньги, а я дам тебе меду.

у моего коллеги после вопроса о покупке вина. Он боязливо оглянулся, чтобы удостовериться, что никто его не слышит, затем измерил меня взглядом, чтобы убедиться, можно ли мне полностью довериться, и наконец выдал секрет о наличии в Окленде превосходного торгового заведения, где можно приобрести калифорнийское вино. Мне удалось провезти контрабандой целую батарею бутылок с вином, и с тех пор дорога в Окленд стала для меня очень привычной. Мой желудок также благословил мои действия и с достойной удивления скоростью исцелился от своего недуга, хотя в остальном пища оставалась прежней. Однако стакан вина после еды я должен был выпивать в строгом уединении, так что вскоре у меня самого почти что возникло ощущение греховности. Таким образом еще на одном примере было показано, что воздержание есть наилучший путь к лицемерию, которого и так хватает в этом мире.

Как только мой желудок был утихомирен, появились новые беды. Прежде моя хроническая астма исчезала сразу же, как только я вступал на палубу парохода и не давала о себе знать вплоть до возвращения в Европу. Так было и на этот раз, но лишь до приезда в Калифорнию; однако хваленая особенность здешнего климата — влажная прохлада — приманила непрошеную гостью, и астма снова схватила меня за горло.

Затем у меня вскочил нарыв под мышкой (причиной этого, как я думаю, была купленная новая рубашка, которую я надел, не дав ее постирать). Я должен был лечь в госпиталь Рузвельта, где мне вскрыли этот нарыв. Было необычайно интересно познакомиться с американским госпиталем, который по своей элегантности ничуть не уступает Кайзеру Вильгельму II (я имею в виду, конечно, пароход), но зато стоит 35 долларов. Это была наибольшая роскошь, которую я позволил себе за все время путешествия, причем дороговизна госпиталя несколько ослабила сомнительное удовольствие находиться в нем.

Во вторник 4 июля отмечался *Independence-day** — самый большой американский праздник. Так как в субботу и воскресенье я не читал лекций, то мне достаточно было пропустить или перенести на следующие дни лекцию, которую я должен был прочесть в понедельник, чтобы у меня образовались четыре свободных дня, которые я мог использовать для краткого посещения Йосемитской долины. Этому, однако, не суждено было осуществиться, зато в воскресенье 2 июля я слушал *half hour of music*** — благотворительный концерт, который каждое воскресенье дается в греческом театре. Этот театр представляет собой точную копию софокловского театра в Афинах — даже, как мне показалось, увеличенную его копию. Так как в Беркли летом никогда не бывает дождя, а из-за частых туманов солнце светит немного, то этот театр под открытым небом оказывается очень кстати. Только музыка звучала слишком слабо в этом чудесном в архитектурном отношении помещении, окруженном эвкалиптами и вековыми дубами. Там был бы к месту Малер с филармоническим оркестром; исполняющим третью симфонию: тогда деревья затрепетали бы от восторга, а Тихий океан, прислушиваясь, стал бы тише; правда, тамошние слушатели ничего бы не поняли в этой музыке.

Во вторник с крыши Клойн-корта я наблюдал величественные фейерверки, которые там ежегодно зажигаются в честь Дня независимости. Дело в том, что Клойн-корт находится на возвышении и с него открывается вид на залив Сан-Франциско, на Золотые ворота и на гору Тамалпайс; вряд ли старый английский епископ мог любоваться столь же красивым видом со своего Клойн-корта.

Сам Господь, по-видимому, благоволил этому празднику, потому что при закате солнца он устроил свой фейерверк, вполне достойный как его собственного величия, так и его творения. И тогда, как это было уже не раз в течение моей американской поездки, я снова пожалел, что я не художник.

После того как последние лучи вечерней зари исчезли, а над заливом зажглись яркие огни Сан-Франциско, начались фейерверки придуманные людьми. То под нашими ногами вдруг вспыхивал разноцветный букет огней, то далеко на горизонте загоралась пылающая звезда. В какую сторону смотреть? В Беркли и в Сан-Франциско все сверкало и пламенело, но и там, над Оклендом, какое великолепное зрелище! А посмотришь туда, то пропустишь что-то еще более красивое над Аламеда. Я решил, что каждый вечер 4 июля я буду зажигать небольшой фейерверк у себя в саду. В конце концов, борьба Вашингтона и его сторонников была не только местным патриотическим делом, но имела огромное мировое значение.

Шиллер сказал однажды: «Еще несколько тысяч таких ребят, как я, и Германия станет республикой, перед которой Спарта и Рим покажутся женскими монастырями». Этого, конечно, не случилось. Еще несколько тысяч таких ребят, как ты? Мир не произвел больше ни одного подобного. Но идеи не умирают. Республика, по сравнению с которой Спарта и Рим

* День независимости.

** Полчаса музыки.

кажутся женскими монастырями, существует, правда, по ту сторону океана, и как колоссальна она, и как быстро она развивается! «Свобода вынашивает колоссов».

* * *

В последующее время каждую субботу и воскресенье я был куда-либо приглашен. В первый раз — к миссис Херст в ее роскошное поместье вблизи Ливермора. Кто такая миссис Херст? Не так легко объяснить это европейцу. Мы будем ближе всего к истине, если скажем, что она это и есть, собственно университет Беркли. В Европе *alma mater* университета, это некий идеальный античный образ, в Америке же это вполне реальная дама, притом, что важнее всего, владеющая реальными миллионами, из которых некоторую часть она ежегодно выделяет на расширение университета; моя американская поездка также, разумеется, была оплачена ее деньгами. Президент университета (которого мы называли бы ректором — с той только разницей, что там это пожизненная должность) — всего лишь исполнительный орган совета попечителей, во главе которого стоит миссис Херст. Нынешний президент должен был при своем назначении на должность выговорить себе некоторую свободу действий, чтобы все же быть в состоянии сделать кое-что для университета своей собственной властью.

Еще хуже... но имею ли я право произнести слово «хуже»? Я, обязанный гостеприимству миссис Херст столькими чудесными часами, могу ли я утверждать, что такая *alma mater* есть нечто плохое? Поэтому скажем иначе: еще жестче сложились обстоятельства в университете имени Леланда Стенфорда-младшего, который находится в Пало Альто, и куда я при случае нанес однодневный визит.

Мистер Леланд Стенфорд-старший руководил строительством первой тихоокеанской дороги, иначе говоря, — первой дороги, обеспечившей прямую железнодорожную связь между Атлантическим и Тихим океанами. Он сумел надлежащим образом разъяснить Конгрессу (где также имел большое влияние) важность задуманного мероприятия, причем он убедил конгрессменов принять решение, по которому Конгресс брал на себя половину расходов по строительству, получая за это определенные суверенные права над дорогой, а доходы от ее эксплуатации передавал в распоряжение предпринимателя. После этого Стенфорд основал другую компанию, также возглавлявшуюся им, хотя и имевшую совсем другое название, которая должна была поставлять железнодорожной компании все материалы и рабочую силу. Так как он был главой и первой и второй компании, ему ничего не стоило добиться, чтобы первая компания покупала у второй все по двойной цене, причем государство оплачивало номинально половину, а фактически полную стоимость всех расходов; все доходы при этом шли в карман Стенфорда.

Когда он невероятно разбогател, несчастный случай унес из жизни его единственного сына, для которого он, собственно, и копил все свое богатство. Он и, в особенности, миссис Стенфорд впали в состояние своего рода религиозного помешательства. Когда нечто подобное постигает старую даму в Европе, она приобретает дюжину кошек или попугая, здесь же она созвала первоклассных специалистов по строительству (чего только нельзя сделать за деньги!) и построила университет, который бесспорно еще окажется благословением для будущих поколений.

Если университет Беркли построен по системе отдельных павильонов, то Стенфордский университет был задуман в виде красивого здания, построенного по единому архитектурному плану, который, впрочем, представляется мне менее целесообразным для целей обучения. Архитекторы, видимо, везде одинаковы. Особенно роскошна университетская церковь, богато украшенная росписями, витражами и статуями. Орган, игру на котором я там слышал, звучал так чудесно, что я невольно испытывал чувство религиозного благоговения.

После смерти своего супруга миссис Стенфорд долгое время единолично возглавляла университет. Потом умерла и она, оставив завещание, в котором проявилась ее щедрая забота об университете.

Рассказывают, что один профессор национальной экономики высказался в своих лекциях против лихорадки грюндерства; президент университета немедленно уволил этого профессора, думая тем самым заслужить одобрение миссис Стенфорд; она, однако, оказалась настолько великодушной, что восстановила профессора в его прежней должности, сделав одновременно выговор чересчур ретивому президенту.

Представляется вполне естественным, что в университетах такого рода существует полное равноправие между мужским и женским полом как среди студентов, так и преподавателей. Я приведу всего лишь один яркий пример, показывающий, как далеко зашла там власть женщин. Одна из моих коллег-преподавательниц (я запомнил ее имя: мисс Лилиан Серафима Хайд) прочла двухчасовую лекцию о приготовлении салатов и десерта, причем эта лекция была анонсирована на равных правах с моим курсом. Я сохранил перечень курсов и могу продемонстрировать его еще и сегодня.

Все помещения университета кишат дамами, которые по общему числу лишь немногим уступают студентам-мужчинам. Особенно бросается в глаза, что в любом помещении обязательно где-нибудь лежит дамская шляпка. В профессорской комнате — дамская шляпка, в помещении, где находится умывальня, телефонная будка и еще кое-что — дамская шляпка, в темной комнате — дамская шляпка. Дело дошло до того, что, когда после упоминавшейся выше операции я снова пришел в университет в ослабленном и слегка растерянном состоянии, я по рассеянности чуть было не надел на голову вместо своей шляпы лежавшую рядом дамскую шляпку.

Но вернемся к *alma mater berkeleyensis*, т. е. — к миссис Херст. Как я уже упоминал, она пригласила меня и других профессоров, читавших лекции в летней школе, посетить ее в поместье вблизи Ливермора. Это поместье — настоящая жемчужина, какую только могут создать роскошь, деньги и хороший вкус в столь благодатно щедрой природе. На железнодорожной станции нас встретил экипаж, и скоро мы въехали через фантастически оформленные, хотя и не лишенные известной красоты ворота в парк, состоящий из сказочно роскошных деревьев и потрясающе красивых цветников. Богатство в Калифорнии в значительной степени уходит на воду, и там, где на нее не скупятся, возникает сад, цветущий непрерывно зимой и летом. В течение довольно долгого времени (хотя для меня оно показалось слишком коротким) мы пересекали парк, из некоторых точек которого открывались чудесные виды на горы Маунт-Долби и Маунт-Гамильтон. Наконец мы достигли жилого дома. Он построен в португальско-мексиканском стиле и представляет собой венок строений, окружающих двор, закрытый массивными железными воротами; все это напоминает своеобразную крепость. В центре двора находится мраморный античный фонтан, который владелица сама купила в Вероне и приказала перевезти его на берег Тихого океана. От этого фонтана и все поместье получило наименование *Hazienda del pozzo di Verona**.

Мой сосед по экипажу объяснил мне, что владелица самолично пригласила одного немецкого архитектора — Швейнфурта, который и создал это архитектурное сооружение на основе изучения всех старых испанских и португальских зданий, имеющихся в Мексике. «У него должен был быть хороший вкус», — заметил я, на что мой спутник ответил: «Да, но это в конце концов его и погубило». «Как же это произошло?», — спросил я. Он: «Калифорнийские вина показались ему слишком вкусными. Он начал их пить и пил до тех пор, пока не умер». У этих калифорнийцев жуткие представления о своих собственных винах, действительно очень крепких. Но со мной дело не кончилось так плохо. Разумеется, я тоже когда-нибудь умру и только тогда перестану пить, так что и про меня можно будет сказать: он пил и пил, пока не умер.

Внутренние помещения гасиенды напоминают драгоценную шкатулку, наполненную прекраснейшими произведениями искусства и раритетами, которые владелица скупала во всех странах Старого и Нового света; все это вместе составляет оригинальнейшую смесь греческих и римских, средневековых, мексиканских, китайских, японских и индийских редкостей.

За столом я был единственным европейцем и потому сидел непосредственно справа от миссис Херст. В качестве первого блюда подали ежевику. Я, поблагодарив, отказался. Затем последовала дыня, которую хозяйка собственноручно и очень аппетитно мне посолила. Я снова отказался. После этого принесли *oat-meal*** — неопишуемый клейстер из овсяной муки, которым в Вене могли бы откармливать разве что гусей, да и то я не уверен, что венские гуси стали бы его есть. Уже когда я отказался от дыни, я почувствовал брошенный на меня недовольный взгляд *alma mater*. Оказывается, что даже *alma mater* может гордиться своей кухней. Итак, я с трудом проглотил это блюдо, не глядя на него и благодаря бога, что со мной не случилось при этом ничего сугубо человеческого. В этом состоит неприятная сторона американских приглашений: в гостинице, если не хочешь есть, можешь оставить блюдо нетронутым, но что делать в присутствии хозяйки, которая полна гордости за американскую кухню вообще и за свою в особенности? К моему счастью потом принесли дичь, компот и еще кое-что, чем я мог перебить остававшийся у меня неприятный вкус.

После обеда мы прошли в музыкальную комнату — помещение, своими размерами; если моя оценка верна, примерно равное Безендорфскому залу, но отличающееся от него фантастически богатым убранством в стиле барокко. По своей красоте оно превосходит любой из малых концертных залов Вены. Слух о моем жалком музицировании дошел и до этой гасиенды. Меня попросили открыть концерт. После некоторого сопротивления я сел за рояль; это был Стейнвэй самого высокого качества. Ничего не подозревая, я ударил по клавишам. Я, может быть, и слышал где-нибудь в концерте рояль столь же чудесного звучания, но самому

* Гасиенда веронского колодца (итал.).

** Овсяная каша.

мне прикасаться к такому инструменту никогда не приходилось. Если до этого трудности моего путешествия побуждали меня порой раскаиваться в моем предприятии, но теперь я со всем примирился. Я играл сонату Шуберта; вначале устройство инструмента показалось мне слегка необычным, но как легко привыкаешь ко всему хорошему! Уже вторая половина первой части пошла хорошо, а при исполнении второй части — *andante* — я забыл самого себя: казалось, что не я играю мелодию, но она направляет мои пальцы. Я должен был сделать усилие, чтобы не сыграть еще и *allegro*, и это было правильно, потому что там моя техника оказалась бы недостаточной. После меня играла ученица берлинского пианиста Барта; у нее хорошая техника сочеталась с тонким пониманием музыки. Среди присутствующих был еще профессор из Милуоки — мужественная, бравая фигура, несомненно первоклассный охотник-медвежатник, но в то же время человек с основательной музыкальной подготовкой. Он тоже не то чтобы учился, но немного брэнчал на рояле под руководством Барта. Он знал, что Бетховен написал девять симфоний, и что последней из них была девятая. Мне он оказал незаслуженную честь: по случаю спора, существует ли в музыке юмор, он попросил меня исполнить скерцо из девятой симфонии. Мог ли я профессору из Милуоки сказать, что не сумею этого сделать? Но меня тоже охватило чувство юмора, и я ответил: «Охотно, только я просил бы Вас одновременно подыгрывать на литаврах; эта вещь получается гораздо лучше, если ее исполняют двое». После этого он уже не повторял своей просьбы.

Ночью я спал в чудесной спальне гасиенды, непосредственно соединенной с ванной комнатой, причем в мое полное распоряжение был предоставлен мавр, почистивший, между прочим, мои ботинки. Прямо над моей кроватью висела картина, изображавшая ангела-хранителя идеальной красоты. Я люблю искусство особенно в тех случаях, когда оно выражает какую-либо идею. На что мне в жилом помещении картина с битвой при Абукире — как бы прекрасна она ни была сама по себе? Но ангел-хранитель над изголовьем постели как бы выражает пожелание хозяина, чтобы я у него хорошо и спокойно спал. Да, я немного суеверен. Именно в это время я сильно страдал от астмы и даже сомневался, стоит ли мне ехать в гасиенду. Этот ангел-хранитель утешил меня и, действительно, после этой ночи припадки астмы больше не повторялись.

На следующий день мы без конца осматривали достопримечательности в доме и во дворе, в лесу и на поле. Помимо прочего мы проезжали под гигантскими вековыми дубами, широко раскинувшими свои громадные сучья. Среди ветвей одного из них была построена целая избушка, в которую можно было подняться по лесенке — нечто вроде охотничьей сторожки на втором этаже. Лишь к концу дня я направился в обратный путь и прибыл в Беркли поздно вечером, чтобы на следующий день снова своевременно появиться в аудитории.

Следующие суббота и воскресенье были посвящены осмотру Ликской обсерватории. Уже в пятницу после обеда я выехал в Сан-Хосе — приветливый городок, в котором многие улицы имеют вид пальмовых аллей. Там не только гуляют под пальмами; там под пальмами проезжают трамваи, велосипеды и автомобили. На следующий день в семь часов утра я влез в немного поврежденную почтовую карету, которая должна была доставить меня на Маунт-Гамилтон. Абсолютная высота этой горы примерно соответствует высоте Земмеринга, но она кажется выше, потому что подъем на нее начинается почти от уровня моря. Дорога очень хорошая; она вьется серпантинами, медленно и постепенно поднимаясь в окружении виноградников и фруктовых садов, а потом по лесу и альпийским лугам. В это время года на лугах нет ничего кроме сена. Летом коровы там кормятся сеном, а зимой — свежей травой.

Мой кучер — коренастый ворчливый старик, одновременно исполняет обязанности почтового служащего. Сразу же после отъезда из гостиницы он с ворчанием начинает сортировать почтовую корреспонденцию, лежащую в нескольких мешках у наших ног. У ворот большого, обнесенного оградой хутора красивая собака встречает нас веселым лаем. Мой кучер засовывает пару писем в пакет с газетами и ловко бросает его прямо в пасть псу, который немедленно утаскивает его, исчезая под забором. Этот вид почтового обслуживания повторялся на многих хуторах, которые мы проезжали. В других случаях перед воротами возвышался деревянный столб с вбитым в него большим гвоздем. Не останавливая экипажа, мой кучер ловко снимает с гвоздя предназначенную к отправке корреспонденцию и сразу же вешает на него поступившую почту. Лишь в двух случаях, когда надо было передать корзины с продуктами или другие большие пакеты, нас ждали служанки, расовую принадлежность которых я, не будучи антропологом, не берусь определить. Мы дважды меняли лошадей и один раз останавливались для ленча (только не спрашивайте меня — какого).

Приблизительно в половине второго мы подъехали к обсерватории. Там я застал лишь молодых астрономов во главе с д-ром Таккером, поскольку директор обсерватории Кэмпбелл вместе со старшими сотрудниками находился в это время в Испании, готовясь к наблюдениям полного солнечного затмения. Так как мне самому тоже захотелось увидеть затмение, я спросил д-ра Таккера, где будут проводиться наблюдения. «В Дарока-Атека-Альмазан» —

ответил он. Я немного испугался и непроизвольно сказал, что для меня это звучит как название какой-то испанской деревни. Он спокойно заметил, что это и есть испанская деревня, расположенная к северо-востоку от Мадрида. Не знаю почему, но это не произвело на меня благоприятного впечатления, а Испания начала мне казаться немного слишком испанской.

После этого мне было показано все оборудование превосходно оснащенной обсерватории; благоприятное местоположение последней позволяет использовать это оборудование максимально плодотворным образом. Самым замечательным инструментом следует признать гигантский телескоп с 28-дюймовой линзой, отшлифованной Альваном Кларком (*the big glass**, как ее называют здесь). С помощью этого телескопа было сделано одно из интереснейших открытий недавнего времени — я имею в виду обнаружение двух спутников Марса. Огромный постамент, на котором установлен телескоп, заключает в себе могилу гражданина Лика, на частные средства которого была построена вся эта обсерватория. Разве в этом не проявился его идеализм? Мне кажется, я разгадал его намерение. Он несомненно знал, что после смерти ему будет безразлично, где покоятся его останки, но он хотел дать миру символическое указание, в чем должна состоять конечная цель жизни любого миллионера.

Если бы я был поэтом, я бы написал поэму «Два идеалиста», изобразив в ней встречу на небесах Шиллера и Лика. Устами Шиллера мудрость говорит богатству: я в тебе не нуждаюсь. Лик доказывает обратное. Конечно, вдохновение, приобретенное за деньги, есть вдохновение второго сорта; купленную за деньги любовь нельзя назвать даже третьесортной. Но за деньги можно купить рояль марки Стейнвэй, скрипку Амати, картину Беклина и, как мы видим, даже бессмертие.

Я хочу рассказать еще одну историю, в которой идеализм смыкается с приобретением денег. Выдающийся американский физик Роулэнд сказал как-то в одной из своих речей, что ученый не должен стремиться к богатству. Через год после этого он заболел, был подвергнут медицинскому обследованию и выяснил, что ему осталось жить не более трех лет. Но у него была жена и четверо несовершеннолетних детей. В возникшем в его душе внутреннем конфликте побеждает любовь к семье. Он изобретает буквопечатающий телеграф, запатентовывает его и к моменту своей смерти, которая действительно вскоре последовала, оставляет своей вдове состояние в 200 000 долларов, т. е. около миллиона австрийских крон. Тем самым он поступил вопреки принципу, провозглашенному им в его речи. Но знаете ли Вы, дорогой читатель, что больше всего меня восхищает в этой истории? То, что у него сразу же оказалось под рукой такое выгодное открытие. Пусть на том свете и он протянет руку Шиллеру!

Разумеется, зарабатывая деньги, американские предприниматели ведут себя как трезвые реалисты. Так, когда я изложил цель моего путешествия одному очень разумному коммерсанту, то он абсолютно не мог постичь, для чего мне понадобилось ехать в Сан-Франциско, если заработанных мной денег едва хватит на то, чтобы покрыть одни лишь путевые расходы.

Я мечтательно постоял перед постаментом, на макушке которого был укреплен гигантский телескоп, а в чреве скрыты останки гражданина Лика. Затем мы прошли через все остальные помещения обсерватории. Богатые материалы хранятся здесь самым рациональным образом. Каждый участок неба имеет свой шкафчик, а в нем для каждой звезды отведен отдельный выдвижной ящик, так что все данные наблюдений могут быть немедленно отысканы и использованы. Содержимое этих ящичков быстро возрастает. Нет ничего удивительного, что при такой интенсивной работе у астрономов, живущих в этом гордом одиночестве, время течет быстро; к этому надо добавить, что среди них, как и следовало ожидать, имеются также и хорошенькие астрономки.

Вечером я еще успел посмотреть через большой телескоп на Марс — громадный и сияющий, наподобие лунного диска, — а затем, ночью мы тронулись в обратный путь. Своеобразное впечатление произвела на меня резкая граница тумана, висевшего над долиной. Над нами еще было ясное, звездное небо, а под нами, как ровная поверхность моря, простиралась пелена тумана. И вот коляска разом въехала в туман, звезды исчезли, а свет фонаря на экипаже проникал лишь на несколько шагов вперед.

Следующий день (воскресенье) я использовал для осмотра Сан-Хосе — с тем, однако, чтобы во второй половине дня своевременно вернуться назад. Мне нужно было время, чтобы выспаться и подготовиться к лекции.

Не менее интересным оказалось следующее воскресенье, когда я выехал для осмотра морских курортов — Монтеррей, Пасифик-Гров и Санта-Круз, расположенных вдоль Тихого океана. Однажды я уже настолько далеко выезжал из Сан-Франциско, что мог полностью насладиться зрелищем Великого океана, но теперь я получил возможность на значительно большем протяжении восхищаться скалистым побережьем и игрой морских волн. Но еще в

* Большое стекло.

большей степени, чем все это, меня интересовал маленький домик в Пасифик-Гров, в котором помещалась лаборатория профессора Леба.

Как велика все же разница между гигантскими промышленными предприятиями и скромными мастерскими научной мысли! Как импонирует нам вид колоссальных океанских пароходов! Но после нескольких поездок на них становится ясно, что морские офицеры, машинисты и матросы всегда выполняют одну и ту же работу. В пассажирских помещениях почти те же люди говорят о тех же вещах, вытягиваются на тех же креслах и на верхней палубе бросают те же диски, целясь по тем же мишеням. Огромные массы, но ни одной новой мысли! Правда, наука уже обязана некоторыми своими достижениями промышленному прогрессу (это мы видели на примере Ликской обсерватории), но подлинно великое создается всегда минимальными средствами (разумеется, эта мысль не должна дойти до нашего министра просвещения).

Существует известное величие в обладании миллионами, которые расходуются на благо великого народа, и в победах полководца, стоящего во главе сотысячных армий. Но еще более великим представляется мне ученый, в самом скромном помещении и самыми скромными средствами открывающий истины, которые будут составлять фундамент нашего знания еще и тогда, когда память об упомянутых победах сохранится лишь в трудах историков. Из достижений греков и римлян что дошло до нас в своей первозданной свежести, оказывая на нашу жизнь более богатое и могучее воздействие чем когда-либо раньше? Бойцы Марафона превзойдены воинами, сражавшимися при Вионвиле и Ляояне*. Люди, которые для собственного удовольствия читают Гомера или Софокла, принадлежат к вымирающей породе; но теорема Пифагора, закон Архимеда поистине бессмертны.

Это моя общая точка зрения; в какой мере она применима к открытию, сделанному в Пасифик-Гров, покажет лишь будущее. Несколько лет тому назад, когда оно было еще совсем новым, это открытие поставило меня в неловкое положение. С большим рвением пытался я разъяснить его смысл в одном светском обществе, совершенно не подозревая, что нечто столь объективное, отнюдь не направленное на то, чтобы возбуждать сладострастные эмоции, — более того: совершенно непригодное для этого — может показаться непристойным. Подобное подозрение у меня возникло лишь после того, как моя соседка по столу внезапно и даже немного демонстративно поднялась и ушла. Несколько позднее та же самая дама спела весьма двусмысленную песенку Алеттера**. Я не мог удержаться от замечания, что меня удивляет, почему эта песенка считается приличной, а тема моей беседы показалась неприличной. «Вашу тему мы вообще не поняли», — сказала дама, на что я непроизвольно ответил: «Но Алеттера-то Вы поняли». Это — пример укоренившегося лицемерия, к которому нынешние трезвенники добавляют еще одно. Я попытаюсь сейчас надлежащим образом извернуться, разъяснив предмет исследований Леба так, чтобы он не смог никого шокировать.

Долгое время считалось, что характерные для живых организмов химические соединения могут получаться лишь под воздействием особой жизненной силы. Сегодня мы знаем, что многочисленные органические соединения синтезируются из входящих в их состав химических элементов посредством обычных химических реакций без всяких следов участия жизненной силы. Однако и теперь еще многие полагают, что жизнь представляет собой нечто совершенно отличное от сопровождающих ее химических процессов и что специфические проявления жизни никогда не смогут быть получены из чего-либо безжизненного. Хотя эта точка зрения далеко еще не опровергнута исследованиями Леба, все же в чашу аргументов, свидетельствующих против нее, добавлены новые весомые данные.

Существуют виды животных, у которых женское яичко может в определенных условиях развиваться без всякого оплодотворения (так называемый партеногенез). Леб экспериментировал с животными, у которых это никогда не происходит — с морскими ежами и морскими звездами. Он показал, что совершенно безжизненные кислоты могут оказывать на яички этих животных такое же действие, которое обычно вызывается мужским семенем. Таким образом, яички, подвергнутые воздействию угольной кислоты, или масляной кислоты, или пропилов-уксусной кислоты могут при определенных условиях развиваться так же, как развиваются нормально оплодотворенные яички.

Нетрудно понять, насколько большое значение имеет открытие, показывающее, что процесс, ранее рассматривавшийся лишь как следствие особой жизненной силы, способен вызываться чисто химическими реагентами. А если это окажется справедливым не только для морских ежей, но и для высокоразвитых живых существ — какие социальные перевороты

* Больцман имеет в виду сражение при Вионвиле (16.8.1870) во франко-прусской войне 1870—1871 гг. и сражение при Ляояне (24.8—3.9.1904) в русско-японской войне 1904—1905 гг.

** Венский композитор конца XIX в., автор популярных в то время песенок и романсов.

могут отсюда последовать! Эмансипация женщин в таких масштабах, о которых нынешние борцы за права женщин не могут даже и мечтать. Мужчина станет попросту излишним; он будет полностью заменен бутылочкой, содержащей искусно перемешанные химикалии. При этом и передача наследственных признаков сможет осуществиться значительно рациональнее, чем это происходит теперь, когда она подвержена действию столь многих случайностей. Вскоре будет также установлено, какие именно смеси будут давать мальчиков, а какие девочек, и так как первые станут полностью ненужными, их будут производить лишь в очень ограниченном числе экземпляров для зоологических садов. Надо полагать, что и вино станет тогда излишним.

Из Пасифик-Гров я поехал на морской курорт Санта-Круз, особенно примечательный тем, что большое число курортников живет там не в домах, а в полотняных палатках, в стенках которых проделаны маленькие окошечки. Эти палатки сдаются так же, как и обычные дачи. Другие курортники живут в маленьких деревянных домиках, построенных на судах, которые ставятся в мелких бухтах или в устьях рек, впадающих в море.

Вообще там везде поражает миниатюрность домов, почти исключительно деревянных. В Беркли много домов, живо напоявивших мне деревенский домик одного крестьянина, резчика по дереву, в окрестностях Граца. Хозяин собственноручно сколотил из деревянных досок этот дом на своем маленьком участке и разукрасил его резьбой.

Затем я еще увидел так называемые *big-trees** — деревья, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Там показывают пень одного уже не существующего дерева, по кольцам которого можно установить, сколько тысячелетий это дерево прожило. Я сейчас уже забыл, сколько именно.

Прочие дни недели, кроме субботы и воскресенья, были посвящены работе, однако и они не были лишены развлечений. Устраивались многочисленные вечера, среди которых два были очень торжественные. По случаю одного из этих мероприятий мой коллега, который должен был за мной заехать, проявил чисто английскую заботу о моем туалете, предупредив меня, что я должен быть в вечернем костюме. Когда он вошел, я встретил его возгласом: «Ну что, разве я не красив?» Увы! Оказалось, нет. Я забыл почистить ботинки. Однако мой коллега знал точно, что надо делать в этих случаях. Он провел меня в какой-то подвал, нашел в шкафу требуемые принадлежности, снял пиджак, жилет, манжеты и собственноручно с большой виртуозностью почистил мне ботинки. После этого он выпил воду, которую перед этим налил в стакан, чтобы побрызгать на ваксу. Чисто по-американски!

В обществе, собиравшемся на этих вечерах, не было недостатка и в дамах. К женам профессоров присоединялись жены приехавших, далее хозяйка со своими миловидными дочерьми, из которых одна прекрасно пела, наконец, их приятельницы. В подобных обстоятельствах — как это бывало неоднократно и раньше — на меня находит еще незарегистрированная в медицине болезнь, которую я обозначу словом «стихерит». Как я уже делал в связи с другими болезнями, я постараюсь дать представление о степени этого заболевания, приведя в качестве примера одно из ее проявлений.

К моей жене

Разве пристало чуждаться мне жен молодых на чужбине?
Разве не вижу я в них явного сходства с тобой?
Часто твой лик на картоне, любя, я целую — прости же,
Что целовал я порой твой лик во плоти и крови!
Ты ведь знаешь меня: теоретик я с ног до макушки!
Так что, родная, поверь — лишь в теории я целовал.

Итак, всестороннее раскаяние, в том числе и по поводу поцелуев. Разумеется, это была не более, как поэтическая необходимость. Я хотел бы знать, кто может сочинить стихотворение, ограничиваясь одними лишь прогулками, разговорами, игрой в теннис и музицированием!

Женщины в Калифорнии отличаются, вообще говоря, высоким ростом и мощным телосложением, и поскольку у многих из них имеются явные признаки усатости, я не мог не согласиться с одним из моих коллег, когда он сказал: «Не находите ли Вы, что американские женщины немного мужеподобны?» Однако он не согласился со мной, когда я ответил: «А мужчины немного женеподобны». Последнее, впрочем, относится лишь к их безбородости; в отношении силы воли, мужества, предприимчивости и твердости характера они могут служить примером настоящих мужчин.

* Большие деревья.

К событиям, вносившим разнообразие в наши будничные дни, принадлежало также посещение американского военного министра, который через Сан-Франциско направился на Филиппины. В числе сопровождавших его лиц была и мисс Рузвельт*; я ее, однако, не видел. Военный министр посетил многолюдный митинг, состоявшийся в университетской роще вековых дубов. Трудно передать наивную простоту, дух предприимчивости и воодушевление произносившихся речей. Приведу лишь один пример. После краткого вступительного слова мэр Беркли в следующих выражениях представил присутствующим военного министра: «Это мистер Тафт! — хороший министр, хороший гражданин и вообще во всех отношениях добрый старый малый». По-английски это звучало еще более доверительно: *a good old fellow*.



Людвиг Больцман
после возвращения из Америки.
Шарж К. Пржибрама

Да, Америке еще предстоит совершить великие дела; я верю в этот народ, хотя я наблюдал его, в основном, при таком занятии, которое менее всего ему свойственно: при интегрировании и дифференцировании на семинаре по теоретической физике. К этому делу они приступали примерно так же, как вел бы себя я, если бы я вдруг начал прыгать через ямы или сбегать с холмов, которые в таком количестве встречаются на территории университета Беркли.

И вот, наконец, наступил вечер, когда я в последний раз услышал монотонное пенье очкастых кельнерш. Когда я разрезал последний омлет, сидевший рядом коллега острым взглядом обозрел число кусков на моей тарелке и сказал: «На каждый кусок Вам дается полминуты времени». И опять я был схвачен железной дорогой, которая понесла меня вдаль — сначала в Портленд (две ночи в поезде). Там меня соблазняла задержаться выставка, но я сразу же пересел на поезд в Ливингстон (еще две ночи в поезде). Поездка была чудесной; жаль только, что не все время длился день! Самым прекрасным был вид на гору Шаста с ее высокой снежной вершиной, возвышавшейся среди буйной субтропической растительности. Я проезжал мимо нескольких озер, окруженных горами, окаймленных лесами, по сравнению с которыми озера Гмунд и Аттер** кажутся совсем незначительными. На берегах этих озер я не заметил ни одного дома; я даже не уверен, что все они имеют названия. О

Йеллоустонском парке я не буду говорить ничего. Это — чудо, какое вряд ли можно сыскать где-нибудь еще на свете. Прочтите о нем в Бедекере или полюбуйте хорошими фотоснимками оттуда, а лучше всего — посмотрите его в натуре, разумеется, если для этого у Вас есть время, деньги и настроение. Но не поступайте так, как я. Туда следует поехать в начале июня, когда жара еще не очень велика, и посвятить этому 14 дней или, еще лучше, целый месяц, чтобы можно было не спеша все осмотреть и чтобы удивление могло бы смениться спокойным наслаждением.

Я был перегружен яркими впечатлениями. Теперь мне пришлось снова провести четыре ночи в железнодорожном вагоне, и это окончательно доконало как мою способность наслаждаться, так и мое белье. К тому же было нестерпимо жарко. Я не выпускал из рук полотенца, которые, к счастью, в американских вагонах можно получать в любом количестве. Я теперь понимаю, что такое потник. К тому же американцы имеют обыкновение герметически закрывать железнодорожные вагоны — не из-за боязни сквозняка, которой они не знают, но из-за копоты. Приятных наблюдательных вагонов в конце поезда, где дыма меньше, на этой линии почему-то не существует. Однажды я осмелился на более длительное время открыть окно в моем купе, находившемся в передней части поезда, и вскоре стал совершенно черным. Я не удивлюсь, если в грядущем столетии кем-либо из ученых будет выдвинута гипотеза, что негры потому так черны, что они всегда используются в качестве железнодорожного персонала.

Ко всему этому ко мне вернулся мой желудочный катар. Правда, в вагон-ресторане можно получить вино, но его дают неохотно, только после еды, когда большинство гостей, в особенности дамы, уже ушли. Первое, что там подается, — это стакан ледяной воды и бумажка, на которой нужно сразу же написать все, что ты хочешь получить. И вот проходит вечность,

* Дочь Теодора Рузвельта, президента США с 1901 по 1909 г.

** Два горных озера на территории Австрии.

прежде чем записку уносят, а ты сидишь с пересохшим от жары горлом рядом с ледяной водой. Я не выдержал искушения (ему поддался бы и ангел) и выпил этот яд.

Вдруг в какой-то день я перестал получать вино. Это было объяснено так: во всем штате Северная Дакота установлен сухой закон и, пока мы проезжаем этот штат, вино не может выдаваться. Я протестовал: какое мне дело до штата Северная Дакота! Я хочу приехать не далее, как в Вену. Если так, то извольте меня везти через страну, где растет перец! О, перец разводится здесь в большом количестве, ответили мне. К черту! Самые сильные проклятья оказались здесь тщетными. Правда, с помощью чаевых и строго секретно я в конце концов получил вино, но его нужно было оплачивать из-под полы и в счет оно не могло заноситься.

Американская железнодорожная администрация прицепляет новый вагон обычно лишь в том случае, когда все прочие уже заполнены; несмотря на это, поезда там бывают колоссально длинными. Отдельные вагоны имеют имена, наподобие кораблей; без этого в них было бы очень трудно разобраться. Я ехал, последовательно, в вагонах, называвшихся «Сент-Джезабел», «Пембина» и «Вернедаль». Вагоны кишат пассажирами всех национальностей и человеческих рас; из-за жары многие одеты очень вольно. На бархатном кресле все время лежит грудной младенец, совершенно голый; он напомнил мне изображения младенца Христа, который, разумеется, никогда не лежал в пультмановском вагоне. Я хотел сказать об этом матери, в качестве комплимента, но как некрасиво все это звучит по-английски: «эз де чайлд Тжизес Крайст»!*

Счастье, что я не родился англичанином: я никогда не привел бы в дом невесту. Можно себе представить, как бы трудно мне было, при моей стеснительности, объясниться в любви. «Он выглядит так, как если бы ему нужно было идти в аудиторию», — говорит Мефистофель. Если бы только мне нужно было идти не далее, как в аудиторию; если бы я мог ограничиться встречей с госпожой физикой и метафизикой!**

Но передо мной была миловидная молоденькая девушка. Слова застряли у меня в горле; и все же, когда я дошел до *punctum saliens****, мне пришли на помощь мудрость и хороший вкус наших предков, которые для высочайшего чувства придумали благозвучнейшее слово — *Liebe* (любовь). Как это было с музыкой, когда я играл на Стейнвэе, так и здесь, — не я управлял словами, но слова сами повлекли меня за собой и я достиг полного успеха. Но если бы я должен был с безукоризненно английским акцентом сказать «Ай лоуфф ю», моя избранница убежала бы от меня, как разбегаются куры от манящего их зобастого штирийца (житель австрийской области Штирия — *Прим. перев.*). Вечером вся пестрая толпа пассажиров загоняется в постели. Американские спальные вагоны устроены следующим образом: вдоль всего вагона по его середине идет сравнительно узкий проход. По обеим сторонам прохода имеются обитые мягким скамейки, на каждой из которых могут сидеть два человека. В распоряжение каждого пассажира отводится одна такая скамейка. Вечером пространство над каждой парой скамеек, на которых лицом друг к другу сидят два пассажира, превращается в две находящиеся одна над другой постели, отделяемые от прохода занавесками. Постели расположены параллельно ходу поезда. При желании можно получить для себя отдельное купе с двумя постелями, но это будет стоить в два раза дороже. Так как в купе нет выдвижных ящиков, то ночное белье, туфли и прочие нужные вещи следует положить в сумку, которую мавр ставит на постель. После этого скрытый занавеской пассажир раздевается, складывает одежду в сумку и затем спит, не погибая от удушья.

В целях вентиляции в каждом купе имеется небольшое отверстие, выходящее наружу и прикрытое частой решеткой; тем не менее в жаркую погоду становится так душно, что я спал в костюме упомянутого выше грудного младенца, тем самым избавив себя от труда распаковывать белье. Один раз я оставил на ночь открытым окно, но когда я утром встал, мавр обратился ко мне со словами: «Уважаемый коллега».

Чтобы не потерять часы, карманные деньги, очки и прочее, я спрятал все эти мелочи в шляпу, а шляпу положил в сетку с крупными ячейками — единственное место во всем купе,

* As the child Jesus Christ — как младенец Иисус Христос.

** Для ясности приводим соответствующее место из «Фауста» Гете в оригинале и переводе:

Und ihr seht drein,
Als solltet ihr in den Hörsaal hinein,
Als stünden grau leibhaftig vor Euch da
Physik und Metaphysika!

...Как будто вам приходится идти
На лекцию, и вот уж на пути
И метафизика и физика пред вами
Живьем стоят с постылыми словами!

Гете В. Фауст.

Пер. Н. Холодковского, под ред. М. Лозинского.
Пг.—М., 1922. С. 143.

*** Ключевая точка, решающий момент (лат.).

куда можно было положить вещи. Стеля постели, мавр повесил шляпу выше, где она была для меня недосягаемой, и было забавно видеть, как он был озадачен по поводу того, что шляпа понадобилась мне, когда я уже лежал в постели.

Самым критическим временем было преобразование скамеек в постели. На скамейках уже нельзя сидеть, а постель еще не готова. Я спасаюсь бегством в умывальную, но там один пассажир чистит щеткой свою одежду, подымая облака пыли, а другой моется, брызгаясь во все стороны водой. Я пытаюсь достичь вагон-ресторана, который, вообще говоря, бывает не во всех поездах. Для этого мне нужно пройти семь или восемь вагонов по узким проходам, уже закрытым с обеих сторон занавесками; занавески шевелятся, как живые, и на ходу я получаю толчки, производимые то невидимой рукой, то ногой, то мягкой частью. К тому же все время спотыкаешься о предметы багажа, расставленные на полу. Наконец я нахожу место в купе, скамейки в котором еще никем не заняты. По ту сторону прохода уже приготовлена постель, причем скрывающая ее занавеска находится в непрерывном движении. В этом движении чувствуется нечто вечно женственное. На лекциях в Вене, подписывая студенческие матрикулы, я всегда вижу только руки студентов, причем я сразу же замечаю женскую руку. Здесь я тоже был убежден, что занавеска скрывает за собой женские части тела, и действительно, в результате неосторожного движения при раздевании, занавеска вдруг приоткрылась и я увидел, что был прав.

Привычка рано вставать уберегла меня от многих неудобств утренних часов. Так, при одевании и умывании я еще был один, и позднее я мысленно говорил толпящимся в умывальне пассажирам слова из «Похищения из Серала» Моцарта, которые до меня уже цитировал Бисмарк: «Чтобы себя перехитрить, я должен вставать рано».

Жара, копоть, желудочный катар и жажда так измучили меня в течение этого переезда, что я не только отказался от намерения увидеть солнечное затмение, но принял все меры, чтобы успеть попасть на пароход «Кайзер Вильгельм II», который мог быстрее всего доставить меня домой. Как нарочно в это время началась забастовка телеграфистов, из-за которой наш поезд шел с шестичасовым опозданием. Меня это привело в ярость; и вот тут-то обнаружилась вся флегматичность американцев. Они смотрели на бранящегося чуть ли не с чувством сожаления, как бы желая сказать: чужак думает, что он своим возмущением поможет делу. А кондуктор высказался по этому поводу очень коротко: «Мы не можем подвергать себя риску столкновения».

В Чикаго у меня оставалось всего двенадцать минут времени на то, чтобы перебраться с вокзала Кэнэлстрит Юнион Стейшн на вокзал Никкелплейт Стейшн. Отягощенный багажом, я бессмысленно бегал взад и вперед. Два человека, к которым я обратился с вопросом, мне вообще не ответили. Это заметила одна молодая дама, которая предупредительно спросила меня, чего я хочу. Правда, она тоже не могла мне дать нужной справки, возможно, что она просто не поняла моего вопроса, но она указала мне на полицейского, которого я, будучи в состоянии величайшего возбуждения, даже не заметил. Не из лести, но от всего сердца я воскликнул: «Вы — ангел». И тут я вдруг увидел, что она точь-в-точь похожа на ангела-хранителя из *rozzo di Verona*. Неужели вера в ангелов-хранителей не только сказка? И уместна ли сказка в залах Кэнэлстрит Юнион Стейшн в Чикаго? Итак, я бросился от ангела-хранителя к блюстителю порядка, который быстро дал мне необходимую справку, так что я успел своевременно попасть на другой вокзал.

В Нью-Йорке меня ждала еще одна неожиданность. Красивый мол, который вел от железнодорожного вокзала к парому, успел за это время пострадать от пожара и я должен был шататься по обугленным бревнам, спотыкаясь под тяжестью моего багажа.

Несмотря на все эти препятствия, я успел своевременно попасть на борт «Кайзера Вильгельма II». И когда я оказался со всеми своими большими и малыми вещами на борту парохода — как радостно забилося мое сердце!

Пойте, пойте гимн согласный:
Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей родине прекрасной*.

Обратному плаванию благоприятствовала чудеснейшая погода. Хорошая пища на пароходе полностью восстановила мой желудок. Я не пил ни капли воды и лишь совсем немного пива, но тем больше налегал на благородное Рюдесгеймское вино. На пароходе это очень удобно: когда тебя немного шатает, все приписывают это действию корабельной качки.

* Из «Торжества победителей» Шиллера (пер. В. А. Жуковского).

Затем совсем крохотный путь по железной дороге от Бремена до Вены, переезд по городу в элегантном венском фиакре, и я дома. Да, подобное путешествие дает много интересных и ярких впечатлений, Калифорния прекрасна, гора Шаста великолепна, Йеллоустонский парк чудесен, но самое прекрасное во всем путешествии — это все же момент, когда ты снова оказываешься дома.

Перевод с немецкого И. Д. Рожанского

От редакции

Когда этот выпуск ВИЕТ готовился к печати, мы получили горькую весть о кончине Ивана Дмитриевича Рожанского (1913—1994). Автор уже не сумел увидеть свой перевод опубликованным...

Иван Дмитриевич получил физико-математическое образование и еще перед войной защитил диссертацию по теоретической физике. Однако истинным его призванием, которому он отдал всю жизнь, была история греческой науки и философии. Иван Дмитриевич был блестящим знатоком, глубоким и тонким исследователем истории науки древней Греции и эллинистического мира. Его основные труды — книги об Анаксагоре, об истории античной и эллинистической науки, не считая более мелких, но не менее глубоких исследований, давно стали классическими и составили эпоху не только в истории древней науки и философии, но и в истории науки и культуры вообще.

И. Д. Рожанский был широко образованным человеком, глубоким знатоком современных западноевропейских и древних языков. Все его труды основаны на глубоком изучении источников и исчерпывающем знании литературы предмета. Диапазон его научных интересов простирается от сочинений древних авторов до трудов физиков XIX—XX вв., от глобальных проблем истории философии до тонкостей русской и зарубежной поэзии и музыки, теории и истории литературы.

Все это позволяет говорить о нем как об уникальном ученом-универсале, ярком представителе, к сожалению, почти исчезнувшего слоя российской интеллигенции, составляющего гордость страны и народа.

Иван Дмитриевич отличался величайшей скромностью и доброжелательностью. Его бескорыстное желание помочь ощутил всякий, кто хоть раз к нему обратился за помощью или консультацией. Общение с ним, как научное, так и просто человеческое, чрезвычайно много дало каждому, кому повезло быть его учениками, коллегами, друзьями или просто быть с ним знакомым. О его гражданской позиции — чести, достоинстве, принципиальности — ходят легенды.

Именно о таких, как он, сказано: «Мало их, но ими расцветает жизнь всех... Мало их, но они дают всем людям дышать — без них люди задохнулись бы!»

К счастью, «рукописи не горят», а традиция не умирает. Наследие Ивана Дмитриевича еще долго будет служить русской науке и культуре, а его личность навсегда останется эталоном чести, порядочности, бескомпромиссности и благородства.



Иван Дмитриевич Рожанский
Фото из семейного архива